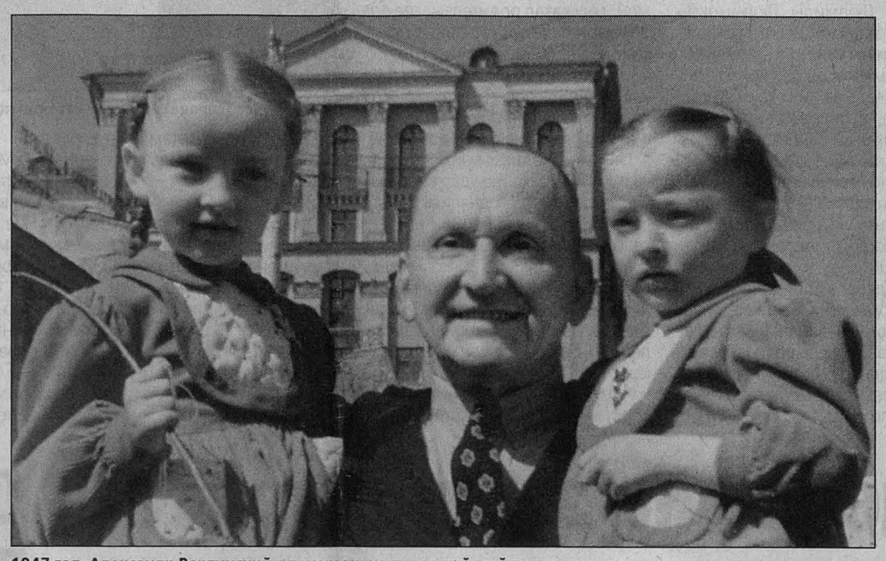
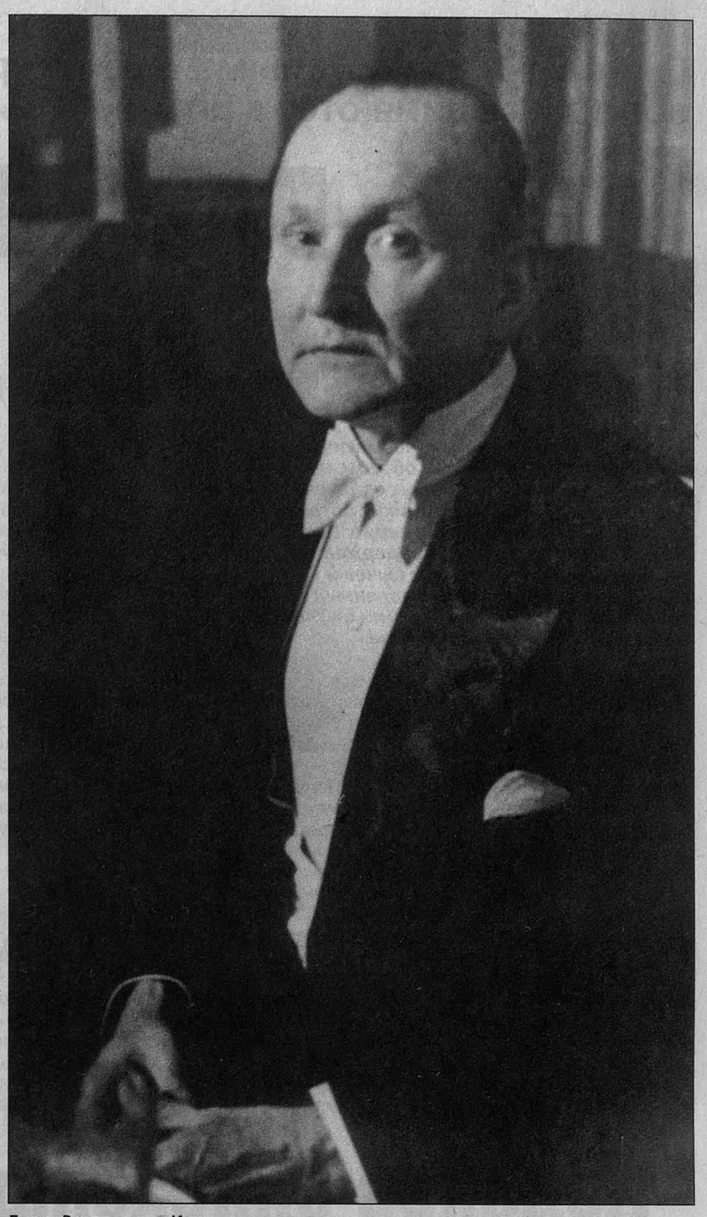
ИЗВЕСТИЯ
WWW.IZVESTIA.RU

1942 год, Шанхай. Лидия Вертинская

Марианна и Анастасия в зале Всероссийского театрального общества. Вечер памяти Александра Вертинского



1947 год. Александр Вертинский с дочерьми на первомайской демонстрации



Лидия Вертинская: «И рядом возникает человек в элегантном черном смокинге. Вертинский! Какой он высокий! Лицо немолодое. Волосы гладко зачесаны. Профиль римского патриция!»

Лидия ВЕРТИНСКАЯ:

«Я была юна, неопытна, совсем не знала жизни, но мне захотелось защитить его»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Никого прекраснее его нет. И никогда не будет»

Однажды в Пасхальный вечер в нашей небольшой компании возникло предложение послушать Вертинского. До этого я знала Вертинского только по пластинкам и была его поклонницей, но никогда его самого не видела. И мы приехали в кабаре «Ренессанс».

Полутемный зал в сигаретном дыму. Небольшое возвышение для джаза. На сцену выходит пианист. И рядом возникает человек в элегантном черном смокинге. Вертинский! Какой он высокий! Лицо немолодое. Волосы гладко зачесаны. Профиль римского патриция! Он мгновенно окинул притихший зал и запел.

На меня его выступление произвело огромное впечатление. Его тонкие изумительные и выразительно пластичные руки, его манера кланяться — всегда чуть небрежно, чуть свысока. Слова его песен, где каждое слово и фраза, произнесенные им, звучали так красиво и изысканно. Я еще никогда не слышала, чтобы так красиво звучала русская речь, слова поражали своей богатой интонацией. Я была очарована и захвачена в сладкий плен.

...Почему-то в тот вечер мне особенно запомнилось, как он пел «Прощальный ужин»:

«Я знаю, даже кораблям
Необходима пристань.
Но не таким, как мы!
Не нам,
Бродягам и артистам!»

Последнюю фразу он произносил почти что с вызовом, как будто швырял перчатку кому-то невидимому в зале. И было в нем в тот момент столько достоинства, актерской гордости!

Но в этот миг я не испытывала к нему ничего, кроме... жалости. Я была юна, неопытна, совсем не знала жизни, но мне захотелось защитить его. Слова этой песни поразили и больно ранили меня.

И всю мою неразбуженную нежность и любовь я готова была отдать ему. Отдать с радостью. Потому что никого прекраснее его нет. И никогда в моей жизни не будет. Я это знала, сидя в прокуренном зале «Ренессанса». Так же точно, как и семнадцать лет спустя — в тот майский день, когда в Доме эстрады стояла у его гроба с нашими девчонками...

По счастливой случайности, за нашим столиком сидели его знакомые. Он подошел. Нас познакомили. Я сказала: «Садитесь, Александр Николаевич». Он сел — и потом не раз говорил: «Сел — и навсегда». Влечение было обоюдным.

«Он звал меня Лила, а я его Сандро»

Мы стали встречаться. Александр Николаевич приглашал меня на свои выступления. Он пел, а я слушала... Вертинский окончательно меня околдовал.

Себя он называл «кавказским пленником», ему очень понравилось, когда он узнал, что я по отцу грузинка, так как он всегда обожал грузин. «Я их очень люблю», — сказал он и спросил: «А как вас грузины зовут?» Я ответила, что меня все зовут Лиля, но грузины не выговаривают букву «я», и поэтому у них получается «Лила».

Александр Николаевич улыбнулся: «Как это замечательно! Я вас тоже буду звать Лилой, но и вы меня тогда зовите Сандро». Такая у нас началась игра. Он звал меня Лила, а я его Сандро.

Всю неделю я была занята на работе, и только суббота и воскресенье оставались свободными. Мы стали часто встречаться — по субботам или в воскресенье. Но в остальные дни Александр Николаевич скучал, и тогда мы стали переписываться. От этого времени у меня остались все его письма и стихи. Никогда не думала о том, чтобы их печатать. Зачем? Кому они нужны, кроме моих дочерей и, может быть, внуков? Но чем чаще я перечитываю пожелтевшие страницы, исписанные крупным отчетливым почерком Александра Николаевича, тем настойчивее, неотвязнее мысль — не может, не должно это богатство принадлежать мне одной.

«Сейчас так уже не пишут...»

В этих письмах весь Вертинский, каким я его знала. Страстный, щедрый, любящий, знающий, что такое истинное чувство, истинное страдание. Сейчас так уже не пишут...

«19 ночь, дома. Еще, еще хочется с Вами разговаривать, мой маленький друг. Вот у одного поэта есть такие строчки:

«В первый раз я вижу воды Нила,
Как красив он, дивен и далек!
Знаешь, если б ты меня любила,
Я сгорел бы, словно уголек!»

Теперь у меня есть часы. Они тикают. Это лучше, чем тишина. Все-таки кто-то куда-то спешит, старается, опаздывает. Боюсь, что письмо не дойдет завтра и Вы не позвоните мне. Насчет воскресенья. Помните, я Вам читал, Ларисса Андерсен говорит:

«Счастье? Тише.
К счастью надо красться,
Зубы сжав и притушив огни,
Потому что знает, знает счастье,
Что всегда гоняются за ним!»

Кто может сегодня поверить в счастье? В особенности если оно находится в таких безответственных и хрупких руках, как Ваши, моя дорогая?»

Вот еще одно письмо.

«Наконец, утром мне подали Ваше письмо, и все мои ночные страхи развеялись, как дым. Письмо, как всегда, слегка сумбурное, но с такой очаровательной фразой в конце, что у меня уже на целую неделю будет хорошее настроение.

Да, совершенно ясно, что мое настроение находится в концах Ваших тонких пальцев. Как у Блока:

«Ты, держащая море и сушу
неподвижно тонкой рукой!»

А за пессимизм моего вчерашнего письма Вы, пожалуйста, не сердитесь, моя маленькая повелительница! Помните, что сказал мне на грузинском балу один человек? «Вертинский — Вы кавказский пленник». А с пленниками надо хорошо обращаться. Все эти дни я нервничал из-за Вашего молчания и плохо себя вел. Пил много. Теперь я успокоился. На воскресенье предлагаю Вам в час дня позавтракать со мной в «Константинополе», где дают Ваши национальные блюда, а потом видно будет, или кино, или Джесфильд Парк*. Встретимся у меня (время зависит от Вас), а потом пойти в кафе или кино. А вечером пойти в Лайсеум на симфонию. Четвертое — днем побывать где-нибудь вместе, а вечером пойти ко мне в «Ренессанс».

Но воскресенье уже скоро.

У меня глаз болит! Пыль залетела, противный Шанхай. А какая у Вас походочка! Ровненькая, с большим достоинством, как будто Вы зашли на минутку и очень торопитесь осмотреть этот город, а поезд скоро уходит. Так ходят иностранки в Бельгии, когда осматривают Мертвый Брюгге. Я Вас обожаю, моя маленькая грузинка!

Сандро»

За время нашего знакомства в Шанхае Вертинский написал несколько стихотворений, посвященных мне. Самое прекрасное из них:

Спасение

Она у меня, как иконка —
Навсегда. Навсегда.
И похожа она на орленка,
Выпавшего из гнезда.
На молодого орленка,
Сорвавшегося со скал,
А голос ее звонкий
Я где-то во сне слыхал.
И взгляд у нее — как у птицы,
Когда на вершинах гор
Зеленым огнем зарницы
Ее озаряют взор.
Ее не удержишь в клетке,
И я ей сказал: «Лети!
Твои непокорные предки
Тебя сберегут в пути».
Но в жизнь мою сонно-пустую
Она спокойно вошла,
Души моей книгу злую
Она до конца прочла.
И мне ничего не сказала,
Но взор ее был суров,
И, точно змеиное жало,
Пронзила меня любовь.
И в песнях моих напрасных
Я долго ей пел о том,
Как много цветов прекрасных
Увяло в сердце моем.
Как в дальних блуждая странах,
Стучался в сердца людей,
Как много в пути обманных
Манило меня огней.
Она сурово молчала.
Она не прощала. Нет.
Но сердце уже кричало:
«Да будет, да будет свет».
Я понял. За все мученья,
За то, что искал и ждал, —
Как белую птицу Спасенья
Господь мне ее послал...

1940, Шанхай

«И твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза
Н. Гумилев.

Моя драгоценность!

Все это необычайно важно!

И то, что Весна,

И то, что Пасха,

И то, что у Вас зеленые глаза,

И то, что у меня есть Невеста!

И хотя Вы слишком тоненькая

И слишком молодая и слишком капризная — все это очень важно.

Поздравляю Вас с праздником!

Одно яичко Вам, а другое маме.

Передайте ей — мое поздравление.

И хотя оно не доставит ей ничего,

Кроме «непріятного напоминанія»

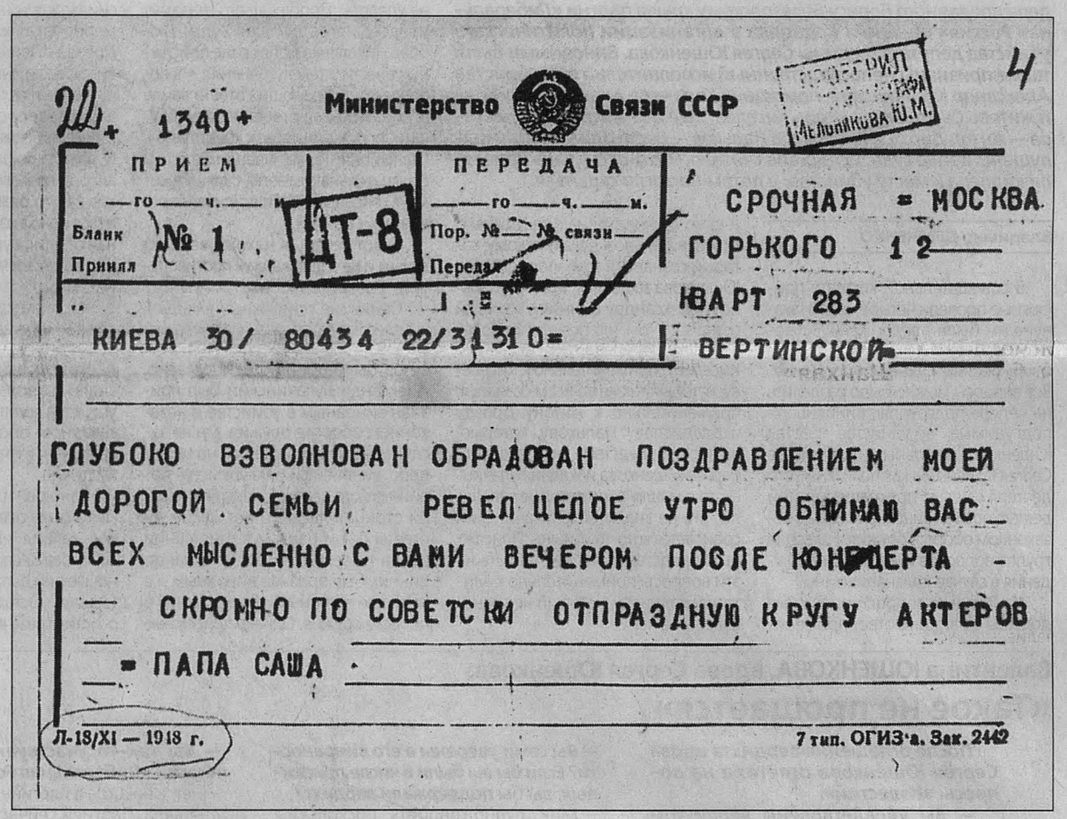
О моем существовании, — все же поздравьте ее.

Так полагается у приличных людей.

Христос Воскресе!

Sandro»

«Плывет Ваш маленький пароходик... Бежит... размахивает руками. Торопится по волнам, вприпрыжку. На этом игрушечном пароходике, в каютке маленькой — мое игрушечное счастье. Лежит клубочком. Дремлет. Отдыхает. Утром милые зеленые глаза — как окошечки — продернут занавесочки и будут смотреть на море. А море будет такое же зеленое, как они. Сейчас ночь, я вспоминаю всю прошлую ночь, и на сердце у меня тихо-тихо, чтоб никто, никогда не узнал.



Министерство Связи СССР

ПРИЕМ — ПЕРЕДАЧА

Бланк № 1 ДТ-8

СРОЧНАЯ = МОСКВА ГОРЬКОГО 12 КВАРТ 283 ВЕРТИНСКОЙ=

КИЕВА 30/ 80434 22/31310=

ГЛУБОКО ВЗВОЛНОВАН ОБРАДОВАН ПОЗДРАВЛЕНИЕМ МОЕЙ ДОРОГОЙ СЕМЬИ РЕВЕЛ ЦЕЛОЕ УТРО ОБНИМАЮ ВАС ВСЕХ МЫСЛЕННО С ВАМИ ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ КОНЦЕРТА — СКРОМНО ПО СОВЕТСКИ ОТПРАЗДНУЮ КРУГУ АКТЕРОВ = ПАПА САША

Л-18/XI — 1918 г. 7 тип. ОГИЗ'а. Зак. 2442

Это и есть счастье. Когда тихо. Помните, как говорит Ларисса?

«Счастье? к счастью надо красться,
Зубы сжав и притушив огни...
Потому что знает, знает счастье,
Что всегда гоняются за ним».

Благодарю Вас.

За звонок по телефону.

За дорогие слова обо мне.

За терпение.

За золотую головку на моем плече.

За то, что я люблю Вас.

Это так редко и так трудно —

Любить кого-нибудь.

Пусть Ангел охраняет Ваш путь.

А тайфун — разбился в скалы, сегодня было в газете.

Я никогда не буду обижать Вас, мою маленькую и единственную. Никогда.

Sandro»

«6 Авг. 1940.

Вот странно...

Раньше я писал стихи...

А теперь, вместо этого, мне хочется только писать Вам письма.

Потому что, очевидно, любовь сильнее искусства.

Мне не хочется ничего «придумывать».

Вот если бы можно было все время писать о Вас?

Но публике нет никакого дела до моих личных чувств...

Ей нужны занимательные истории. Песни должны быть о ней или приблизительно «подходить к ней»!

Как я рад Вашему письму!

Как я рад, что Вы скучаете без меня!

Вы не очень-то ласковы вообще, а в письмах и того меньше!

И чтобы обрадоваться, нужно «придраться» к чему-нибудь или читать «между строк»!

Все-таки это чудно...

Может быть, Вы действительно меня любите немножко?

Трудно понять.

Зато я, наверное, люблю Вас!

Когда уже Вы будете моей женой?

Сандро

P.S. Напишите мне что-нибудь нежное!..»

«6 сент. 1940.

Моя дорогая Лилочка!

Я страшно обрадовался Вашему письму. Мне так приятно, что Вы у меня умница. Умница потому, что не долго дулись. Правда, «письмишко» короткое и «прохладное», но лучше что-нибудь, чем ничего. Я так ждал его и так боялся, что его не будет. Это было бы ужасно — поссориться серьезно! Спасибо, душенька, спасибо, умница, что Вы умеете стать выше мелких ссор! А все это у меня от нервов. Конечно, люди очень треплют мои нервы, и я иногда дрожу от непонятной и беспричинной душевной боли. Я хочу, чтобы Вы поняли меня. Вы для меня — самое дорогое, самое любимое, самое светлое, что есть в моей жизни. Я Вам верю как Богу. Одной только Вам, на всем белом свете. И, конечно, каждое Ваше слово для меня дорого, значительно и свято. И вот когда Вы бываете со мной резки в жизни или в письмах, то на меня это производит настолько сильное впечатление, что я теряю контроль и прихожу в бешенство.

Вы — моя любовь. Вы — ангел. Вы — невеста! Все, что вы сказали, — закон. Все, что Вы делаете, — свято. На Вас нет критики! Вы вне закона и над ним. Выше Вас ничего нет!

Так я принимаю Вас. Вы даже не женщина. Потому что я как-то не думал никогда об этом. Вы — самая красивая на свете. Самая нежная, самая чистая. И поэтому я так остро принимаю каждую Вашу резкость. Вы должны приносить радость. Только радость. И все должно быть для Вас, даже мое искусство. Даже мои песни и вся моя жизнь. Помните, что Вы — мое «Спасенье», что Вас послал Бог, и не обижайте меня, «усталого и замученного». Меня и так терзают люди. А Вы — спасенье от них. Единственная награда за все.

Благодарю Вас. За письмо. За доброту. За верность. Ваш. Всегда Ваш. Навсегда Ваш.

Сандро

P.S. Пожалуйста, прочтите письмо несколько раз и подумайте над каждой фразой, а то Вы быстро прочитаете и не поймете главного — моей любви».

«...Но это был конец 42-го, и началась Тихоокеанская война»

Территория дока, где располагался дом, в котором нас с мамой поселили, находилась на берегу реки Хуанцу, притока реки Янцзы. Русские шанхайцы называли эту реку просто Вампу, по ней плавали сотни маленьких суденышек — джонок, груженных тюками хлопка, кулями соли и всякой всячиной... До войны Шанхайский порт считался одним из крупнейших коммерческих портов мира.

Но это был конец 42-го, и началась Тихоокеанская война.

В Шанхай вошли японские оккупационные власти и захватили все в свои руки. Нам с мамой надо было срочно освобождать казенную квартиру, и моя мама с трудом сняла небольшую комнату в бординг-хаузе. Маминых приятельниц, которые были замужем за иностранными подданными, всех, даже с детьми, интернировали в японские лагеря. Моллер успел всех своих служащих мужчин переправить из Шанхая, а жены остались паковать и укладывать вещи. Все они со своими детьми просидели два года в японских лагерях и вышли оттуда совсем больные.

Моя дорогая мама растерялась в этой суматохе и наконец дала согласие на мой брак с Вертинским.

«Он обещал служить Родине до конца своих дней»

Бракосочетание состоялось в Кафедральном соборе в воскресенье, 26 апреля 1942 года. Наш брак был зарегистрирован и в советском посольстве в Японии, в Токио. Была свадьба, были белое платье, фата, взволнованный жених, цветы, пел хор. Собор был полон людей. Весь русский Шанхай пришел на нашу свадьбу. Мама смирилась. Мы обещали взять ее вместе с нами в Россию.

Война в России всколыхнула в нас, русских, любовь к Родине и тревогу о ее судьбе. Александр Николаевич горячо убеждал меня ехать в Россию и быть с Родиной в тяжелый для нее час. Я тоже стала об этом мечтать. Он написал письмо Вячеславу Михайловичу Молотову. Просил простить его и пустить домой, в Россию, обещал служить Родине до конца своих дней.

Письмо В.М. Молотову повез из Шанхая в Москву посольский чиновник, сочувственно относившийся к Вертинскому. Через два месяца пришел положительный ответ и визы Вертинскому, мне и моей маме. Как ни уговаривал меня Александр Николаевич не брать маму, я категорически не могла согласиться с этим, ведь она была совсем одна.

** Джесфильд Парк — огромный ботанический парк в Шанхае.*